

# ИМАГИНАТИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТСОВЕТСКОГО МИЛИТАРИЗМА

Илья Инишев<sup>1</sup>

## Abstract

The recurring militarism of post-soviet states, especially Russia, requires theoretical tools other than just moral and socio-political criticism for its conceptualization. What is now urgently needed is to bring to light the deeper cultural foundations and motives of the alleged Russian people's susceptibility to different kinds of the mobilization politics. To this end, I propose to use a regulative notion of 'radical modernity' based on the idea of social imaginary introduced by Cornelius Castoriadis and Benedict Anderson and elaborated recently by Charles Taylor. Within this theoretical optics, modernity is a permanent though not linear tendency to the disembedding of social imaginary from all the kinds of outer determination, whereas the (post-)soviet cultural (that is, not restricted to manifest forms of aggression) militarism is mainly the result of the cultural and historical blocking of this disembedding by substitution of the notion of modernization for the one of modernity which unavoidably led to far-reaching deformations of the (post-)soviet version of the European modern imaginary. One of the key indicators of this deformation is the paradoxical self-alienation and impoverishment of the meaning-making potential of this kind of the social imaginary. The globally occurring individualization and intensification of social imagery, mediated by the developments in the information technology, is considered both as a model and as the promise for improvements in the post-soviet cultural region.

**Key words:** social imaginary, radical modernity, modernization, cultural militarism, intensive imagination.

## Введение

Несмотря на то, что милитаристские настроения и милитаристская политика на постсоветском пространстве ассоциируются прежде всего с российским государством и обществом последнего десятилетия, я бы предпочел говорить в нижеследующем о культурном милитаризме как интегральном компоненте социального воображения определенного типа. Соответственно, речь пойдет о выработке теоретической модели, которая – в случае успешной ее апробации – могла бы

<sup>1</sup> Илья Инишев – доктор философских наук, доцент школы культурологии, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия).

внести вклад в диагностику ключевых социокультурных процессов и политических тенденций на постсоветском пространстве.

В чем преимущества модели культурного (имагинативного) милитаризма для осмысления истоков агрессивности, санкционируемой и даже культивируемой рядом постсоветских обществ и государств (и прежде всего российскими государством и обществом)?

Во-первых, теория и дескрипция социального воображения могла бы поспособствовать прояснению мотивационных оснований и механизмов ряда культурных паттернов, лежащих в основе этой агрессивности, тем самым дополнив синхронизм нормативистской критики постсоветских обществ диахроническим анализом культурных изменений. Кроме того, эта теоретическая перспектива продуктивно сочетает коммуникативное и эмоционально-телесное измерение социальной и политической жизни, позволяя рассматривать процесс кристаллизации культурных и социальных структур на уровне самоощущения индивида.

Во-вторых, социальное воображение – и его автопроекция: социальное воображаемое – включает в себе не только аналитические, но и практические возможности, позволяя существенно расширить круг участников – актантов – трансформационных процессов, равно как и репертуар релевантных активностей. Например, в случае практической апроприации обсуждаемой теоретической модели и лежащего в ее основе феномена (социального воображаемого) могла бы быть пересмотрена миссия современного (неформального) искусства в сторону большего акцента на его перформативной, а не продуктивной составляющей<sup>2</sup>.

В-третьих, модель социального воображения как взаимосвязь эмоционально-телесных, когнитивных и коммуникативных аспектов социальных феноменов позволяет преодолеть мышление социально-исторических процессов в бинарных концептуальных схемах, делая тем самым анализ менее дискретным.

Наконец, зарождающаяся глобальная сетевая культура предлагает новые возможности осмысления и развития темы социального воображения, альтернативные тем, которыми располагали инициаторы этой проблематики в социальных науках, такие как Корнелиус Касториadis<sup>3</sup>, Бенедикт Андерсон<sup>4</sup> и Чарльз Тейлор<sup>5</sup>. Как «первый универсальный медиум»<sup>6</sup> Интернет – это не средство массовой информации и не инструмент коммуникации, во всяком случае не в

<sup>2</sup> О приоритете перформативно-телесной составляющей социально релевантных имагинативных активностей в ситуации «радикального модерна» речь пойдет ниже.

<sup>3</sup> К. Касториadis: *Воображаемое установление общества*, Москва: Гнозис 2003.

<sup>4</sup> Б. Андерсон: *Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма*, Москва: Канон-Пресс-Ц 2001.

<sup>5</sup> Ch. Taylor: *Modern Social Imaginaries*, Durham and London: Duke University Press 2004.

<sup>6</sup> N. Mirzoeff: *How to See the World: An Introduction to Images, from Self-Portraits to Selfies, Maps to Movies, and More*, New York: Basic Books 2016, 4.

первую очередь. Современные сетевые технологии представляют собой стремительно гибридизирующуюся генеративную среду, сочетающую в себе производство, дистрибуцию и интеграцию «символического» содержания в материальные, перцептивные и эмоциональные «внесетевые» контексты.

Воображение и, соответственно, образ, воображаемое, как я их предлагаю понимать в дальнейшем, трактуются по преимуществу в антропологическом и социологическом смысле: в смысле чувства возможного, которое играет определяющую роль для инициализации любого рода активности (как интеллектуальной, так и физической), но которое само не может быть до конца артикулировано ни в теоретическом, ни в практическом знании. «Чувство» при этом не образует противоположность «интеллекту». Не подразумевает оно и «пассивность» или «приватность». Напротив, оно представляет собой неизбежную и щедрую на последствия интерсубъективную «протоактивность», которая, при определенных условиях, может быть колонизована и канализирована в соответствии с навязанной ей извне логикой. Воображение и коррелятивное ему воображаемое составляют единое и динамичное пространство, которое, помимо прочего, выполняет функцию эмоционально-интеллектуального и вместе с тем телесно-практического «фоновое консенсуса», лежащего в основании любого индивидуального и коллективного действия. С другой стороны, любая активность внутри этого пространства сказывается на нем, придавая ему тем самым динамику саморазвития, которая отнюдь не подразумевает линейного прогресса.

В следующей части статьи я начну со схематичной реконструкции основных специфических черт советского (соответственно, постсоветского) социального воображаемого, уделяя особое внимание выявлению оснований современного милитаризма, характерного для культурного самосознания российского общества (как основного репрезентанта социального воображения этого типа). Теоретическую рамку при этом будет задавать концепция социального воображаемого, предложенная Чарльзом Тейлором<sup>7</sup>, а основным аспектом социального воображения, который нас будет интересовать в первую очередь, станет его детерминирующая функция.

---

<sup>7</sup> Разумеется, репертуар имеющихся на сегодня теоретических моделей, релевантных для нашей проблематики, достаточно богат. Важную роль для формирования используемой в этой статье теоретической оптики сыграли феноменологическая социология (Альфред Шюц, Петер Бергман, Томас Лукман), теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса, концепция рефлексивной модернизации (Энтони Гидденс, Скотт Лэш, Ульрих Бек) и постмодернистская социальная теория (Жан Бодрийяр, Зигмунт Бауман). Тем не менее теория социального воображения имеет ряд преимуществ, главное среди которых – преодоление традиционного для социологии одностороннего и гипертрофированного интеллектуализма.

Затем, во второй части, я перейду к краткому обсуждению эмансипационного потенциала этого феномена и концепта. В заключение же будет предложена идея радикальной, или имажинативной, модерности.

## **1. Между модерностью и модернизацией: (пост)советское социальное воображаемое и культурный милитаризм**

Прежде всего я хотел бы перечислить основные новации концепции социального воображаемого, предложенной Чарльзом Тейлором в развитие известных идей Корнелиуса Касториадаса, разработанных им в 1960-70-х годах<sup>8</sup>. В отличие от Касториадаса, Тейлор ставит акцент не на «креативном» потенциале социального воображения, а на его «детерминирующих» функциях.

В частности, к ключевым пунктам концепции Тейлора, имеющим особое значение для нашей проблематики, относятся следующие:

– идея многообразия форм модерности как в диахронической, так и в синхронической перспективах (*multiple modernities*), из чего, помимо прочего, следует отказ от просвещенского представления о модерности как однонаправленном линейном детерминированном процессе;

– трактовка многообразия форм модерности как многообразия форм коллективного воображения, обладающих рядом типологических черт;

– позиционирование модерности не как (капиталистической) формы экономики и не как специфической формы политического устройства, а прежде всего как определенного типа морального порядка общества, основывающегося на идее взаимной выгоды. Модерность рассматривается в первую очередь не как материально-технологический или экономический прогресс, а как восхождение «культуры» – сложной системы организации общества на ненасильственных, «коммуникативных» основаниях. Эта смена принципов, начавшись с «приручения» средневековой аристократии, впоследствии распространилась на все общество, что привело к постепенному установлению нового всеобщего морального порядка. Взаимосвязь таких понятий, как *courtesy*, *civility*, а также *polis*, *polite*, *politesse*, *politics*, все еще хранит в себе генетическую связь с политики с происходившим на протяжении нескольких столетий «культурным поворотом»;

– распространенная по сей день идея модерности как эпохи рационализации (самокритики человеческого разума, модернизации) рассматривается как плод наивных с исторической точки зрения «*subtraction stories*»: исторических нарративов, навязывающих идеологию модернизации как поступательного процесса целенаправленного устранения факторов, искажающих рациональность. Очевидно, что рациональность в этом случае понимается в ориентации

<sup>8</sup> Taylor, *op. cit.*

на модель технологически-инженерного мышления, односторонность которой была предметом критики со стороны многих современных социальных теоретиков и философов, например Юргена Хабермаса<sup>9</sup>;

– понимание модерна и модерности как «долгого пути» (long march), который не был поступательным развитием, представляющим собой имплементацию некоей сверхисторической логики. При этом продолжительность «пути» во многом была обусловлена тем, что трансформационные процессы затрагивали в первую очередь не столько сферу мышления, сколько такие области человеческой жизни, как телесность, телесные практики, эмоциональность, коммуникативные навыки и т.п.;

– идея специфически современного вектора «долгого пути» как «великое высвобождение» (great disembedding): высвобождение из интегрированности в заданные и непрозрачные смысловые связи, обуславливающие действия и мышление человека, – высвобождение едва ли не в физическом смысле.

Специфика советского социального воображаемого, являющегося порождением модерности и ее частью, заключается, как мне кажется, в том, что оно представляет собой своеобразную аберрацию европейского современного воображения, возможность которой заключалась в нем с самого начала. Речь идет о своего рода «обратном воздействии» (feedback loop) определенной исторической формы теоретической самоартикуляции современного воображаемого – просвещенческой идеи перманентной модернизации, которая, в свою очередь, представляет собой результат масштабной проекции научной рациональности на социокультурную сферу.

Советский общественно-политический проект с самого начала был тесно связан с идеей модернизации и на всем протяжении своего существования понимал себя преимущественно как модернизационный. При этом именно индустриальная (технологическая, в конечном итоге) модернизация рассматривалась в качестве основной модели и главного движителя социальных преобразований.

Между тем, при всей семантической и исторической связи между «модерностью» и «модернизацией», эти термины подразумевают различные вещи.

В повседневном словоупотреблении, а также в научном и общественно-политическом дискурсе модернизация подразумевает своеобразную адаптацию к требованиям и масштабам – уже совершившегося – «действительного», т.е. собственно «современного», своего рода рывок, ускорение, догоняющее (а иногда и «опережающее») развитие, предполагающее временное напряжение сил для реализации заранее разработанного рационального плана (иначе говоря, разработку и применение некоторой технологии). Легко

---

<sup>9</sup> При всей важности и продуктивности предложенного Хабермасом теоретического подхода, он, как нам представляется, ставит чрезмерный акцент на рациональном измерении коммуникативного действия.

видеть, что все перечисленные понятия – из активного словаря прежде советских, а ныне российских политических деятелей.

Модерность, или *modernity*, как о ней рассуждает Тейлор, напротив, представляет собой медленный и полный случайностей и противоречий исторический процесс, не поддающийся описанию посредством односторонней ориентации на стерильную модель последовательного линейного развития и затрагивающий не только и не столько техники мышления, рассматриваемые в качестве аисторичных, сколько дорефлективные морально-практические установки, эмоционально-телесные реакции и интересубъективные образцы поведения. Столь широкий спектр трансформаций, связанных с идеей модерности, многообразие вовлеченных в эти трансформации разноплановых измерений (от структур рациональности до телесных практик), а также их долговременность серьезно ограничивают эффективность – и даже применимость – рационально-технологической системы координат.

Рационально-технологическая трактовка модерности, находящая свое выражение в идее «модернизации» как темпорально и пространственно локализуемого и калькулируемого усилия, очевидно, структурно и генетически связана с культурно-историческим проектом Просвещения. Как радикальная критика предшествующей традиции, Просвещение опирается на сциентизм, которому присуща идеология отрицания континуальности социально-исторических трансформаций, отрицание фактора социальной ткани и самого ее существования. Одно из ключевых следствий этой идеологии – абстрактный социальный конструктивизм, который, в свою очередь, основывается на идеологических предпосылках субъективистской философии. В саму идею Просвещения, как известно, встроена необходимость быстрого забвения долгой истории его возникновения. В итоге широкое распространение получило понимание традиции как истории постепенного устранения факторов, искажающих внутренне присущую человеку верную оптику. Иными словами, традиция трактуется как совокупность препятствий и сокрытий, устранение (вычитание, *subtraction*) которых приводит к высвобождению структур гениальной рациональности и коррелятивного ей комплекса вневременных истин.

Весьма примечательна последующая самоинтерпретация Просвещения, сводящая многообразие собственных эффектов и предпосылок к факторам и процедурам рационализации в эпистемологической и социально-правовой сферах. Не последнюю роль в распространении эпистемологических моделей на самосознание эпохи сыграла привлекательность образцов научной точности, характерная для математического знания минимизация субъективных факторов.

Основной тезис этой статьи заключается в следующем: советская модернизация, несомненно, составляет часть Модерна, уникального культурно-исторического проекта Европы, берущего свое начало в европейском Ренессансе. Вместе с тем специфика совет-



ского модерна, как мне представляется, заключается в не критичном (и, на мой взгляд, фатальном) отождествлении «модерности» и «модернизации» и прежде всего в универсализации модернизации, представляющей собой, по сути, лишь этап в истории модерности, вернее, одну из исторических форм ее самоартикуляции. Неизменная риторика «догоняющего развития», присущая советскому и постсоветскому общественно-политическому дискурсу, – лишь косвенное подтверждение этого обстоятельства.

Специфика модерности – ее коренное отличие от «модернизации» – дает о себе знать и во все возрастающей дискуссионности этого понятия. Неустраимая дискуссионность идеи модерности указывает как минимум на то, что просвещенческое ее понимание, технологически-рационалистическая ориентация которого долгое время поддерживала иллюзию наличия единой необратимой и калькулируемой логики европейской модерности, утратило свое бывшее влияние. То, что это влияние просвещенческая модель сохраняла на всем протяжении существования Советского Союза, а также в постсоветский период, – важная отличительная черта советского социального воображения.

Следует подчеркнуть, что идея «модернизации» была встроена в советский проект, который понимал себя в качестве революционной смены «общественно-экономических формаций», продиктованной – с точки зрения основных действующих лиц и проектировщиков – лишь логикой обновления. Другая отличительная черта советского модерна – распространение идеи возможности и необходимости рационально-технологического вмешательства на человека как такового. «Построение нового общества», согласно советской пропаганде, да и односторонне понимаемому марксизму, подразумевало «воспитание нового человека». При этом остаются неясными статус и генезис «воспитателя», а также того, кто берет на себя труд и обязанность по формулировке «новых антропологических оснований». При всей своей непоследовательности и противоречивости «антропологически-технологический» компонент советской идеологии – важный симптом, указывающий на безграничную степень доверия к рационально-технократической фазе и ипостаси Модерна, т.е. к идеологии Просвещения.

Советский технократизм – это одновременно продукт и (патологическая) *деформация* модерности. Модернизация – назовем ее «быстрая модерность» – в силу своих очевидных особенностей, таких как резкие изменения условий жизни за короткий промежуток времени, публичная релевантность и зримость результатов, практически неограниченные возможности для кодификации и, как следствие, для распространения знаний и технологий, а также для идеологии, поспособствовала вытеснению, забвению и даже дискредитации «медленной модерности», занявшей промежуток времени в несколько столетий и не представляющей собой линейный процесс развития в соответствии с некой внутренней логикой.

В случае с советским модерным воображаемым можно говорить о двойной незавершенности исторического процесса формирования современного типа социального воображаемого, т.е. в нашей терминологии «медленной» модерности: с одной стороны, советская модернизация оказалась фактическим прерыванием этого долговременного процесса, в котором Российская империя также принимала участие, и, с другой стороны, его фактической деформацией и символической подменой.

Сегодня для максимально верного позиционирования советского периода в контексте истории в первую очередь требуется своего рода «сбор анамнеза» современной субъектности, современного образа жизни, что позволило бы сформировать более или менее универсальную систему координат, которая необходима и в том случае, если окажется, что как раз таки неустранимый плюрализм составляет коренную черту исследуемого феномена. Такой сбор анамнеза представляет собой в нашем контексте возвращение от производной идеи модернизации к «материнскому» концепту модерности, обретшему завершенность в последние десятилетия.

Таким образом, один из конститутивных факторов советско-российской модернизации – прерывание «долгого пути» модерна в России и демонтаж значительной части его промежуточных итогов посредством интеграции в него стратегий и установок, гетерогенных логике многомерного *disembedding*, высвобождения. Этот процесс поспособствовал парадигматизации технологической рациональности, что в конечном итоге привело к подмене модерности модернизацией и, как следствие, к культурной ассимиляции мобилизационной, милитаристской риторики, которая существенно повышает порог чувствительности населения к собственному экзистенциальному и телесному дискомфорту, компенсируя его «одномерной» удовлетворенностью от обширного эмоционального коллективного консенсуса, гарантируемого сверхструктурированным социальным воображаемым и характерными для него символическими – «одноканальными» и столь же мобилизационными – формами самоартикуляции.

## **2. Воображение и воображаемое: динамизация взаимосвязи и надежда на альтернативное будущее**

Рефлексивное разделение социального воображения и воображаемого, а также осознание этой раздельности – один из ключевых процессов и результатов формирования современной социальной действительности. «Модерная» – базирующаяся на собственных принципах, выработка которых осуществляется в процессе секулярной имажинативной самоартикуляции общественной жизни во всех ее измерениях. Эта самоартикуляция – неизбежная составляющая современного «высвобождения», или автономизации индивида и общества. Решительно от нее отказываясь или не признавая ее, мы лишь меняем ее модус, но не сам факт ее «конститутивной»



работы. В этом, помимо прочего, дает о себе знать ее перформативный характер. Коллективные воображение и воображаемое образуют замкнутый контур, своего рода feedback loop взаимной корректировки и постоянного обмена энергией.

В отличие от более ранних этапов формирования этого контура, когда он еще контролировался из единого центра и при этом не осознавался в качестве такового, современное его состояние выделяется динамичным и децентрированным процессом переприсвоения ролей и позиций в его беспрестанной рециркуляции. Эта либерализация социального воображаемого, как и сам факт его осознания, относящиеся к одной из отличительных черт «развитого» модерна, связаны с либерализацией доступа к восприятию и – впоследствии – к производству и распространению вербальной, визуальной и аудиальной образности, способной к эффективным интервенциям в сложившиеся формы социального воображения. Характерная для Модерна постепенная горизонтализация социальных различий и, соответственно, плюрализация жизненных проектов и форм продуктивного воображения, постепенно формирующей единую ткань материального и смыслового, воображаемого и действительного, получает постоянную поддержку и стимул со стороны все увеличивающегося многообразия форм и средств культурного производства, во все возрастающей степени опирающихся на современные сетевые и вместе с тем индивидуализированные технологии.

Основной эффект этих процессов, который на сегодня отчасти все еще ожидается, отчасти уже реализовался, заключается, с одной стороны, в едва ли не драматичном росте значения фактора визуализации, а с другой – в экспоненциальном росте форм, способов и агентов визуализации, что, в свою очередь, ведет к продуктивной дефляции воображаемого, к смягчению различий между его воплощениями по силе воздействия и статусу, к переводу вертикальной, или иерархической, модели отношения практик воображения и их продукта – социального воображаемого – к неиерархическому горизонтальному отношению.

В итоге в текущих контекстах решающую роль играет не столько характер и степень интенсивности коммуникации между самосознающими агентами, или продуцентами воображаемого, сколько плотность горизонтально организованных и пересекающихся друг с другом гибридных социально-имагинативных пространств и практик, включающих в себя имагинативные, телесные, эмоциональные и технические составляющие разнообразных форм производства, дистрибуции и восприятия (по преимуществу мультисенсорных) образов<sup>10</sup>. Говоря иначе, речь идет уже о не о соседстве

<sup>10</sup> О структурной связи имагинативного и повседневно-практического см., например: J. Sonnevend: *Iconic Rituals: Towards A Social Theory of Encountering Images*, in: Alexander, J., Bartmanski, D., Giesen, B., Bartmanski, D. (Eds.): *Iconic Power: Materiality and Meaning in Social Life*, New York: Palgrave Macmillan 2012.

субъектов, коммуникация между которыми образует постоянную онтологическую, техническую и политическую проблему, а о соседстве пересекающихся имагинативных пространств, или образов, представляющих собой непрекращающиеся усилия индивидов, нацеленные на создание материально-коммуникативной ткани, реализующейся в многообразии имагинативных практик.

Важный аспект для понимания текущего этапа в истории модерна социального воображаемого: взаимосвязь между воображением и воображаемым во все возрастающей степени обретает черты системы полноценных практик, требующих эмоциональных, телесных, имагинативных и коммуникативных инвестиций со стороны индивида, составляющих интегральную часть его повседневности и в этом отношении примечательно невыдающихся, то есть абсолютно стандартных. Современная «имагинативная работа» все чаще ускользает от инстанций централизованного контроля. Осуществляясь рутинным образом в общем – материально-смысловом и эмоционально-телесном – пространстве, она все эффективнее конкурирует с однонаправленными, негибкими и ресурсоемкими усилиями центральных властей по контролю над локальными социальными воображениями.

Я бы хотел предложить идею наличия структурной корреляции между отдельными компонентами современного социального воображаемого: 1) «субъектом» воображения (тем, как понимается агент социальной имагинации), 2) способом, каким он вовлечен в процесс производства воображаемого, 3) доминантной формой чувственности, этому типу вовлеченности соответствующей, 4) приоритетным материальным медиумом производства и распространения социально значимых имагинативных форм, а также 5) типом практики, объединяющей эти элементы в единое целое повседневного опыта.

Например, в эпоху абсолютизма подавляющее большинство населения было исключено из каких бы то ни было форм проектирования и распространения коллективного самосознания. Именно в эту эпоху техники визуализации посредством картографирования становятся составной частью военных технологий, компенсируя «непрозрачность», связанную с изменившимся характером и возросшим масштабом военных кампаний. Однако «новая непрозрачность» была характерна для становящегося Модерна в целом. Под этим подразумевалась прежде всего растущая необозримость физических пространств и непрозрачность социальных отношений, первоначальным технологическим ответом на которые со стороны европейского абсолютизма было активное использование картографирования и других форм визуализации, наиболее драматичные и недвусмысленные социальные эффекты которых проявились в период колониальной истории XVIII–XIX веков<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Mirzoeff, *op. cit.*, 101.

«Субъектом» (основным адресатом) этого рода воображаемого выступает суверен (или его администратор), вовлеченный в «медиацию» образного по преимуществу интеллектуальным способом, практически полностью подчиняющим себе чувственность, сводя ее к фоновым и стандартизированным (семантизированным) эмоциональным проявлениям. Преимущественной материальной средой имажинации здесь оказывается сознание самого суверена (что отчасти продиктовано требованием абсолютной прозрачности, обеспечивающей беспрепятственный переход от воображения к действию, от видения к формированию воли). Практикой в этом случае будет серия дискретных актов, нацеленных на адекватную и эффективную имплементацию воображенного, которая осуществляется за его пределами, посредством исключенных из него тел, эмоций, а также иррациональных или вовсе ужасающих действий. Оптическое пространство карты наполнено однозначными символами<sup>12</sup>, которые «репрезентируют», а по сути – едва ли не физически спрессовывают в себе время и пространство индивидуальных жизней и тел. Бестелесность (оптическая визуальность) социального воображения рано или поздно оплачивается телесностью исключенных, а также тех, кто активно поддерживает и питает эту агрессию символического. Такая структура социального воображения характерна и для тоталитарных обществ всеобщей мобилизации первой половины XX века.

В послевоенное время, в эпоху локальных конфликтов и масс-медиа, унифицированное, поддающееся сравнительно единообразному прочтению визуально кодированное имажинативное поле, генерируемое в медиуме оптического сознания суверена, распределяется горизонтально среди всех социальных и культурных страт населения, границы между которыми становятся все более пронцаемыми. В то время как в развитых странах такая форма конструирования и дистрибуции социального воображаемого сегодня существует лишь в рудиментарных формах, на постсоветском – и в первую очередь российском – культурном пространстве она по-прежнему доминирует. Этот фактор накладывается на охарактеризованный выше культурный технократизм (пост)советского общества, который, в свою очередь, выступает в роли культурного механизма, сдерживающего и деформирующего несовместимые с ним логики социокультурного и материально-технического развития, в том числе и глобальные. Именно такая структурная констелляция социального имажинативного поля, как мне представляется, оказывается одним из ключевых факторов постсоветского культурного милитаризма и его устойчивости, невзирая на глобальные трансформации последних лет, ведущие к серьезному – и, на мой взгляд, по преимуществу позитивному (ибо завершающему логику *disembedding*) – реформатированию социальной и культурной функции коллективного воображения.

<sup>12</sup> Оптическое, пожалуй, никогда не покидает пределов символического.

Не столько армейская, сколько имажинативная мобилизация, подразумевающая определенный режим телесного, эмоционального, пространственного и практического, образует основной ресурс как имплицитных милитаристских установок широких масс постсоветского (российского) общества, так и их имплементаций в военных кампаниях российских властей последнего десятилетия<sup>13</sup>.

В итоге мы имеем дело с неотрефлексированной и уже только поэтому постоянно воспроизводящей себя мимикрией модернизации под модернность – мимикрией постсоветского социального воображаемого под европейское, блокирующей любые трансформационные усилия, основывающиеся на ней<sup>14</sup>.

Но как выглядит или должна выглядеть позитивная (т.е. отвечающая идеальной логике модерна) динамика развития взаимосвязи между воображаемым и воображением? Почему – и в силу действия каких механизмов – эта динамика способствует или может поспособствовать позитивным изменениям?

На мой взгляд, эта динамика заключается в интенсификации имажинативного как в аспекте «процесса», так и с точки зрения «результата»<sup>15</sup>. Эта интенсификация может быть выражена, например, в идее своего рода «парадигмального сдвига» от одного доминантного типа социальной репрезентации к другому: на смену символической (оптической, пространственной, бестелесной) репрезентации должна прийти репрезентация перформативная (мультисенсорная, темпоральная, воплощенная), не символизирующая, а оккупирующая социальное и физическое пространство. В терминах социологического описания этот сдвиг подразумевает депрофессионализацию и рутинизацию имажинативной деятельности, а также дефляцию «символической (культурной, религиозной, политической и т.д.) ценности» репрезентации и связанных с ней форм деятельности. В терминах теории коммуникации (или в терминах герменевтики, семиотики) речь идет о большем внимании к чувственной и телесной стороне производства социальных значений и их понимания<sup>16</sup>. В терминах онтологии этот сдвиг мог бы быть описан как признание факта тотальной опосредованности

<sup>13</sup> Нынешний «ренессанс» политической географии в медийном и повседневном дискурсе недвусмысленным образом указывает на приоритет оптически-символических форм воображения с их практически неисчерпаемым потенциалом насилия.

<sup>14</sup> Одно из наиболее тяжелых и устойчивых следствий указанной мимикрии – неизменная склонность к «вождизму», характерная для политического сознания масс, неважно с каким она знаком – «плюс» или «минус».

<sup>15</sup> О различении интенсивности и экстенсивности в сфере культуры см., например: S. Lash: *Intensive Culture: Social Theory, Religion and Contemporary Capitalism*, London: SAGE Publications 2010.

<sup>16</sup> См., например: S. Pink: *A Multisensory Approach to Visual Methods*, in: E. Margolis, L. Pauwels (Eds.): *The SAGE Handbook of Visual Research Methods*, London: SAGE Publications 2011, G. Kress: *Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication*, London and New York: Routledge 2010.

нашего отношения к миру областью «имагинативного», поскольку образы – это «всё формы чувственного мира, неважно, идет ли речь о визуальном или о воспринимаемом посредством обоняния или посредством слуха»<sup>17</sup>. Имагинативное, с этой точки зрения, оказывается первичной средой присутствия вещей и опыта их восприятия, своего рода «тканью вещей», позволяющей нам перемещаться среди них беспрепятственно и непрерывно, не обязательно в физическом смысле. В терминах теории восприятия смена парадигм ведет к приоритету средового<sup>18</sup> или даже тактильного видения<sup>19</sup>, к анимации как смыслу перцепции<sup>20</sup> и к многообразию форм телесного в контексте осуществления визуального опыта<sup>21</sup>; в терминах социальной и культурной теории – к диалектике экстенсивных и интенсивных аспектов культуры<sup>22</sup>, к уяснению гибридной – материально-культурной – природы социального факта<sup>23</sup>.

Позитивный эффект подобной интенсификации (и эмансипации) имагинативного заключается прежде всего в постепенной и рутинной маргинализации оптико-символического принципа организации и циркуляции коллективного воображаемого, лежащего в основе современного культурного милитаризма и других аспектов деформированного современного воображения. Но вместе с тем она способна служить позитивной моделью неоптической, неманипулятивной, воплощенной, мультисенсорной, вплетенной в индивидуальную и коллективную телесную ткань солидарности. Основная политическая цель этой интенсификации: противопоставить идеологии «непосредственного» и «подлинного» с ее имплицитным репрессивным активизмом перформативную стихию гибридных опосредований, объединяющих интеллектуальное, телесное и техническое в неиерархическую коммуникативную ткань.

## Заключение

В заключение я перечислю ключевые тезисы статьи и сформулирую важную для меня идею имагинативной, или радикальной, модерности.

<sup>17</sup> См., например: I. Coccia: *Sensible Life: A Micro-ontology of the Image*, New York: Fordham University Press 2016, 2–3

<sup>18</sup> См., например: J. Gibson: *The Ecological Approach to Visual Perception*, New York and London: Psychology Press 1979.

<sup>19</sup> См., например: L. Marks: *Touch: Sensuous Theory and Multisensory Media*, Minneapolis/London: University of Minnesota Press 2002.

<sup>20</sup> См., например: H. Belting: *Image, Body, Medium: A New Approach to Iconology*, in: *Critical Inquiry* 31 (2005), 302-319.

<sup>21</sup> См., например: D. MacDougall: *The Corporeal Image: Film, Ethnography, and the Senses*, Princeton/Oxford: Princeton University Press 2005.

<sup>22</sup> См., например: Lash, op.cit.

<sup>23</sup> См., например: J. Alexander: *Fact-signs and cultural sociology: How Meaning-Making Liberates the Social Imagination*, in: *Thesis Eleven* 104 (2011), 87–93.

B. Latour: *On the Modern Cult of the Factish Gods*, Durham and London: Duke University Press 2010.

Постоянно воспроизводящийся и периодически приводящий к тяжелым последствиям российский, или (пост)советский, милитаризм обусловлен в значительной степени культурной историей модерности, рассматриваемой (в русле традиции Касториадиса, Андерсона и Тейлора) как история социального воображения определенного типа.

Основные преимущества этой теоретической оптики – в занимаемой ею перформативной позиции, позиции актора, в ее способности тематизировать эмоционально-телесную, эстетическую составляющую формирования культурных паттернов и социальной динамики в целом, в ее эмансипационном, практическом потенциале, состоящем в признании трансформационных возможностей за «актантами», ранее исключенными из сферы социального действия.

Специфика (пост)советского социального воображаемого заключается в его квазимодерном характере, который проистекает из структурного искажения европейского современного воображаемого посредством чрезмерного акцента на его специфически просвещенческой – рационально-технологической – составляющей. В итоге постсоветское социальное воображаемое оказывается в ловушке самовоспроизводства этого искажения посредством рециркуляции (feedback loop) в замкнутом контуре «воображение/воображаемое» модернизационной (односторонне активистской и конструктивистской) культурной оптики.

Позитивный сценарий (из которого постсоветские страны остаются по большей части исключены) заключается в динамизации связи воображение/воображаемое, которая отныне все более эксплицитно осознается «массовым актором» как структурное целое, состоящее из имажинативного «содержания», воображающего «субъекта», технических условий, пространственной материальной среды и коллективных практик. Этот сценарий – помимо того, что он уже реализуется в ряде стран и сообществ, – доводит до завершения внутреннюю секулярную (и уже только в этом смысле эмансипативную) логику «радикальной», т.е. последовательно перформативно-имажинативной модерности. Эта логика представляет собой нелинейное движение в сторону эмансипации и самообъективации социального воображаемого, которое из имплицитного (полутрансцендентального) фактора постепенно становится рефлексивно осознанными перцептивным пространством, субстанцией и одновременно продуктом социального действия.

В отличие от понятия радикального воображения, предложенного Касториадисом, воображение в контексте идеи радикальной модерности подразумевает его рутинизацию<sup>24</sup>. Говоря иначе, «радикализм» здесь дает о себе знать только в исторической перспективе. В «синхроническом срезе» мы скорее имеем дело с несколько парадоксальной тривиализацией креативности: многообразные

<sup>24</sup> C. Castoriadis: *Radical Imagination and the Social Instituting Imaginary*, in: *The Castoriadis Reader*, Oxford: Blackwell Publishers 1997.



и множественные повседневные активности образуют не мимолетные переходные звенья от сознания к миру, а, напротив, коагулируют в плотные, замкнутые на себя среды.

К структурным характеристикам так понимаемой радикальной модерности следовало бы отнести приоритет перформанса над структурой, несогласия над консенсусом, эстетического над дискурсивным, тактильного над оптическим, креативности над каузальностью. Ее основная черта – рефлексивное и вместе с тем спонтанное, ситуативное и нерегулируемое производство перцептивных форм и стилей жизни, образующих согласно собственной логике первичные коммуникативные среды, сложность которых способствует структурной блокировке самой возможности культурной агрессии, или культурного милитаризма. Модерность становится формой чувственности. Пожалуй, в этом и заключается основной смысл ее радикальности.